

УДК 822(09)

Е.А. Полева

**НАЦИОНАЛЬНАЯ САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ ГЕРОЯ
В РОМАНЕ В. НАБОКОВА «ОТЧАЯНИЕ»**

Анализируются особенности национальной идентификации персонажа, носителя двух культур: русской и немецкой. Выявляются культурные ориентиры и ценности персонажа, объясняющие адресованность его преступления немцам, а повести – русским.

Ключевые слова: *Набоков; литература русской эмиграции; национальная идентификация; массовый человек; писательство.*

В научной литературе встречаются понятия «культурная идентичность», «национальная идентичность» и «этническая идентичность» (Де Во, Лурье, Садохин, Гуревич и др. [1, 2, 3]). Идентификация связана с оценкой, с осмыслением или неосознанным переживанием человеком своего места в окружающем его социально-культурном мире.

По мнению П.С. Гуревича, идентификация является «глубинной человеческой потребностью», связанной с другими базовыми потребностями личности: во-первых, в общении; во-вторых, в творчестве, которое предполагает адресата; в-третьих, «в ощущении глубоких корней», т.е. в стремлении «осознавать себя звеном в определённой стабильной цепи человеческого рода, возникшей в праистории»; в-четвертых, «в стремлении к познанию, к освоению мира», «к пониманию смысла универсума»; в-пятых, «в системе ориентаций, <дающих> возможность отождествить себя с неким признанным образцом» [3. С. 226].

По определению А.А. Белика, этническая идентичность – это «чувство принадлежности к определённой культурной традиции» [4. С. 173]. А.П. Садохин указывает, что идентичность предполагает «осознанное принятие индивидом культурных ценностей, языка, норм и правил поведения, свойственных его родной культуре и формирующих его ценностное отношение к самому себе, к другим людям, к обществу и миру в целом» [2. С. 22–23].

В современной антропологии понятие «нация» рассматривается как более широкое по сравнению с «этносом». Следовательно, идентификация означает соотнесение не с происхождением, а с типом культуры. Но этническая идентификация не совпадает полностью с культурной, так как основанием для установления тождества могут быть физиологические (врожденные) соответствия.

Г. Гачев, размышляя над «гарантом идентичности» России, выделил «Космос Севера Евразии: природу, климат» и «Русский язык, Слово, Логос, традицию великой Культуры» [5].

Национальная идентификация предполагает соотнесение с культурной традицией, однако культура нации не однородна: при наличии общенациональных символов и архетипов культурные коды разных субкультур одного общества существенно различаются. То есть культурная идентификация уточняет национальную, и значимо, с какой субкультурой себя отождествляет субъект слова / мысли.

Идентификация связана с самоосознаванием. С. Лурье пишет: «Вообще, любой «образ себя» может быть представлен тремя составляющими: «образом для других», «образом для себя» и «образом в себе». «Образ для себя» осознается обществом и представляет собой набор характеристик, желательных для себя. <...> «Образ для других» можно представить как переведенный на язык других культур набор приписываемых себе определений. <...> «Образ в себе» бессознателен, но именно он определяет согласованность и ритмичность действий членов этноса» [1. С. 228]. Эти положения являются для нас методическими основаниями для анализа проблемы национальной идентификации в произведениях В. Набокова, дающих представление о динамике самосознания персонажей; «образ в себе» героя проясняется в сюжете в условиях несовпадения его «образа для себя» и «образа для других».

В 20–30-е гг. XX в. проблема национальной идентичности стала актуальной вследствие начавшегося процесса глобализации, распространения массовой, унифицированной культуры; ростом контактов между культурными регионами; возникновения многоэтнических обществ. Другой причиной внимания к проблеме национальной идентичности стало распространение националистической идеологии.

Проблема национальной идентификации особенно актуальна для эмигрантской культуры. Столкновение с неродной культурой приводит к критичному восприятию этой культуры и к обоснованному стремлению оценить родную. Жизнь диаспоры, во-первых, во многом предопределяет маргинальное существование в социуме неродного государства, а во-вторых, питает националистические идеи, утверждающие значимость *родной культуры*.

Полюсами национальной идентификации русских эмигрантов были отношение к «прошлой России», которая перестала существовать в том виде, в каком «вывезли» её в Европу эмигранты (герой романа «Отчаяние» подмечает, что его текст не будет понят в России, так как он следует «старой орфографии»); отношение к современной России – неприемлемой, отошедшей от «русской идеи», «русского православия», и отношение к европейскому миру, в котором идея гибели российской культуры находила поддержку в трудах историософов (О. Шпенглера, например) [6. С. 97].

Сменовеховство, евразийство, развившие славянофильскую идеологию, утверждали наличие особой исторической и духовной миссии России в современном мире. Идеологические ориентиры русской интеллигенции в Европе контрастировали и с ценностями массовой культуры, и с националистическими идеями, ставшими идеологической основой фашизма. Евразийская идеология обосновывала самобытность разных культур, оценивать которые нельзя уровнем европейской цивилизации.

Этот контекст легко угадывается в произведениях Набокова, но на этом фоне проступает его альтернативная версия национального самоопределения, связанного с индивидуализмом, с реализацией не идеологической, а персональной, экзистенциальной, миссии: подвига («Подвиг»), дара («Дар»). Русскость у Набокова проявляется в неагрессивном, открытом, прагматичном мироотношении, в чувстве природы, культуры, где Пушкин – ориентир.

Культурологический контекст творчества Набокова 1930-х гг. позволяет увидеть, что писатель, не разделяя философско-христианскую, евразийскую

(националистическую по сути) философию, утверждая (в интервью и автобиографиях) свой космополитизм, вступал в диалог с современниками, давая свою интерпретацию проблемы национальной идентификации в романах «Подвиг» (1930), «Отчаяние» (1932), «Дар» (1933–1938). В этих романах национальная самоидентификация выдвинута на первый план в сознании героев. Самоопределение в контексте современной истории отличает Мартына, Германа и Годунова-Чердынцева от героев романов «Защита Лужина», «Соглядатай», «Приглашение на казнь», где в центре – побег из реальности в сознание, в творчество.

Роман «Отчаяние» интересен тем, что национальное самоопределение совершает человек, по происхождению полурусский, полунемец, получивший образование в России и ощущающий себя носителем двух неродственных культур – русской и немецкой. В Германии он чувствует себя не эмигрантом, а коренным жителем; его негативные эмоции связаны не с советской властью, как у эмигрантов, а с царской Россией, где его интернировали как «немецкого подданного» из Петербурга в Астрахань, культурную периферию, место ссылок.

В исследованиях «Отчаяния» проблема национальной идентификации героя не изучена. Ж.-П. Сартр трактует «Отчаяние» как роман об эмигранте: «Оторванность от почвы у Набокова, как и у Германа Карловича, абсолютна» [7. С. 271]. И. Саморукова исследует ориентиры Германа внутри европейской и русской литератур, но ограничивает анализ сюжетами о двойниках: в «...“культурной подкорке” полунемца-полурусского Германа помимо западного обнаруживает себя и “русский тип” двойников, только запрятан он еще глубже, и на фабульном уровне рукописи персонажа-автора почти не проявлен» [8].

В портрете центрального героя «Отчаяния» Германа устойчиво обнаруживаются черты, присущие немцам-буржуа – героям других романов Набокова («Король, Дама, Валет», «Камера обскура»). В первую очередь это самоуверенность, убежденность в своей значимости, герой – полноправный член общества потребления, полагающий, что окружающая реальность создана для него (это право Герман доводит до крайности, используя для своих нужд человеческую жизнь). В центре модели мира Германа – он сам, ему нет равных, он исключение. Его самоидентификация осложнена тем, что он ищет сходства, системы, соответствия, но подсознательно жаждет остаться неповторимым, лучше других. Его отношения с другими – это отношения иерархии; этим Герман отличается от персонажей – русских эмигрантов.

Монологизм сознания персонажа объясняет способ повествования в романе. Герман, воспринимающий окружающих как объекты своей интерпретации, делается Набоковым субъектом повествования, не способным к диалогу. Отсутствие способности к восприятию альтернативных версий самого себя и фактов реальности (это проявлено в эпизодах первой встречи с двойником, созерцания своего портрета, чтения прессы о совершённом им преступлении) соединено в характере героя с отсутствием чётких жизненных принципов и целей. Это сказывается на неосознанности или смешанности мотивов поступков, поведения, ценностных ориентиров, проявляет его экзистенциальную нецельность.

Основная сюжетная коллизия – встреча Германом похожего на него человека, двойника, как кажется герою, замысел и реализация убийства с целью подмены и присвоения чужого имени, написание текста об этом после того, как замысел не удался, – не имеет прямой связи с *национальной* идентификацией, однако способность к преступлению и творчеству связаны с национальной ментальностью героя.

Национальная идентификация героя «Отчаяния» протекает подсознательно, она реконструируется в сюжете из его версии своего происхождения, его автопортрета, его оценок произведений Ф.М. Достоевского, А.С. Пушкина, К. Маркса, из воспоминаний прошлого и анализа своего литературного творчества.

Герман много внимания уделяет описанию своей внешности и стремится передать свой зримый облик посредством слов (в сюжете прием экфрасиса употреблен Германом, чтобы убедить читателей своего текста в своём сходстве с Феликсом, но выводит к проблеме самоидентичности). Определяя свой тип лица, Герман говорит, что «похож на Амундсена» [9. С. 342, 357] (норвежца по национальности), который имеет далёкие от восточнославянских черты лица, в то же время это знак скандинавского («варяжского») субэтноса, по легендам составившего правящую элиту Древней Руси. Набоков даёт ссылку на конкретный визуальный облик, не подтверждая, насколько в реальности образ героя соответствует этому облику, главное, что именно так он себя воспринимает: автопортрет Германа удостоверяет его физиогномическое соответствие европейскому, нордическому типу. Его самолюбование контрастирует с видением его внешности художником, который на портрете отразил «розовый ужас» лица Германа. Хотя Герман доволен своей внешностью, манерами, но восприятие другого толкает на сомнение в себе, на самопознание и более глубокую идентификацию.

Имя центрального персонажа «Отчаяния» включает две коннотации: во-первых, *der German* – германец (имя соответствует и русскому названию его второй родины – Германии) и, во-вторых, *der Herr man* или *Mann* (сочетание лексемы господин с безличным местоимением или с нарицательным существительным «мужчина») [10. С. 800, 835, 909]. Если второе значение уточняет культурно-социальную сущность героя: он массовый человек, хотя и притязает на статус интеллигента, то первое значение указывает на его связь с Германией.

Отметим, что одним из ожидаемых Германом последствий убийства и подмены двойника должна стать замена имени: «Моё ведь имя умрёт» вместе с двойником, «...как я могу отрешиться от имени, которое с таким искусством присвоил? Ведь я же похож на своё имя, господа, и оно подходит мне так же, как подходило ему» [9. С. 418, 451]. Это можно интерпретировать как подсознательное стремление героя скрыть или изменить свою прежнюю сущность, связанную с Германией. Герману важно выйти из конкретных социально-исторических, географических, экономических обстоятельств (из Германии, находящейся в экономическом кризисе), а также убить в себе немецкого буржуа, освободив место для поэта. Вместе с тем главный смысл исчезновения-подмены – не в непринятии своей второй родины, не в отказе от немецкого происхождения (Феликс также наполовину немец, наполовину

чех), а в желании «изменить жизнь», своё экзистенциально-онтологическое положение вдруг возникшей шаткости, неуверенности, раздвоенности.

Присвоенное имя Феликс, как подчеркивает сам Герман, означает «счастливым» [9. С. 340]. Грядущее счастье после убийства и подмены двойника в фантазиях Герман связывает с исчезновением из Германии, отходом от дел, сменой статуса буржуа на «честного рантье», занимающегося творчеством на лоне французской природы [9. С. 362, 369]. Франция стереотипно воспринимается как страна любви, и именно на семейное счастье с женой, без назойливых соперников (Ардалиона) рассчитывает герой, исчезнув из прежней среды. Профанируя стихотворение А.С. Пушкина «Пора, мой друг, пора...», Герман, «усталый раб», жаждет освобождения, побега от сложившихся социальных отношений в природу и в творчество.

Ещё один ориентир для идентификации – происхождение, которое Герман реконструирует в экспозиции повествования: «Покойный отец мой был ревельский немец, по образованию агроном, покойная мать – чисто русская. Старинного княжеского рода» [9. С. 333]. Герман акцентирует внимание, во-первых, на своей национальности: полурусский, полунемец (хотя его отец родом не из Германии, а из Эстонии: Ревель – прежнее название Таллина), во-вторых, на социально-сословном статусе своего происхождения. Он откровенно говорит о своем отце, а о происхождении матери-русской лжёт: «...насчет матери я соврал. По-настоящему она была дочь мелкого мещанина, – простая грубая женщина...» [9. С. 334].

Происхождение, как и личная судьба (родился и вырос в России, в 1914 г. его интернировали в Астрахань, в 1920-м он выехал в Германию), связывает Германа не только с двумя культурами, но и с двумя аксиологическими парадигмами. Можно говорить о по-европейски удачной судьбе Германа, об успешном изменении социального статуса. Он своим трудом добился уважаемого положения в немецком обществе (он владелец шоколадной фабрики), преодолев низкое социальное положение деда («пас гусей») и отца. Однако Герман подвергает сомнению значимость буржуазной жизни, потому что европейские ценности для него неабсолютны, корректируются впитанными в России, но которым он не соответствует. Фантазии и сожаления Германа (версия происхождения матери, насильственно прерванного обучения в университете [9. С. 333]) говорят о двух его ориентирах, связанных с Россией: дворянстве и интеллигентстве, которые соотносятся с божественной жизнью, с возможностью творить, ставя духовные ценности выше материальных.

Есть у Германа и более прагматичные основания отказываться от буржуазных ценностей: неудовлетворенность возникла в период общеевропейского экономического кризиса (конца 1920-х гг.), коснувшегося и его дел, когда устойчивость его положения оказалась под угрозой. Желание поправить своё материальное состояние посредством убийства двойника, получив страховку за собственную жизнь, – один из ведущих мотивов (хотя Герман это отрицает) преступления.

В сознании Германа постоянна сшибка ценностных ориентиров, заложенных в России, когда он был студентом, и актуальных в Германии 1920-х гг. Он пытается убедить читателя, что за внешней мещанской жизнью скрыта от окружающих его творческая внутренняя жизнь. В его сознании буржуа он –

немецкий, а писатель – русский (именно на русском языке он пишет свою повесть). Однако нельзя говорить об унижении в сознании Германа немецких ценностей и о возвышении русских.

Герман дифференцирует разные аспекты и феномены немецкой и русской национальной культуры, противопоставляя себя жене Лиде, чья национальная идентификация осуществляется в границах устоявшихся стереотипов: «Единственное дерево, которое она отличает, – береза: наша мол, русская» [9. С. 346]. Её отношение к иностранцам предопределено суждениями о роли наций и государств в установлении советского режима в России: «Она ненавидит Ллойд-Джорджа, из-за него, дескать, погибла Россия, – и вообще: “Я бы этих англичан своими руками передушила”. Немцам попадает за пломбированный поезд (большевичный консерв, импорт Ленина). Французам: “...они держались по-хамски во время эвакуации”. Вместе с тем она находит тип англичанина (после моего) самым красивым на свете, немцев уважает за музыкальность и солидность и “обожает Париж” <...>. Эти её убеждения неподвижны, как статуи в нишах. Зато её отношение к русскому народу проделало все-таки некоторую эволюцию. В двадцатом году она еще говорила: “Настоящий русский мужик – монархист!”. Теперь она говорит: “Настоящий русский мужик вымер”» [9. С. 345–346].

Герман идентифицирует себя с немцами. На вопрос Феликса «немец ли он?» отвечает: «Да» [9. С. 338]. Он гордится своим лицом и европейским внешним видом (одеждой, аксессуарами буржуа), оценивает как достоинства черты немецкой ментальности, проявляющиеся в обустройстве быта. Герман замечает бережливость, прагматизм в бытовых ритуалах немецкой культуры: Орловиус мешал чай «немецким способом, то есть не ложкой, а ... движением кисти, чтобы не пропал осевший на дно сахар» [9. С. 361]. Он гордо противопоставляет свою любовь к порядку, аккуратность, добротность жизни и характера (присущих немцам) бытовому поведению и иррационализму жены Лиды, русской по национальности.

Он не ставит под сомнение приоритет немецкой национальной ментальности (организованной, логичной, последовательной, цивилизованной) над русской, но пренебрежительно относится к немцам (в его повести это эпизодические, бессловесные персонажи, немцы не составляют близкий круг общения Германа): «маленький, унылый, белокрысый» лакей [9. С. 382], «старый бисмарк в халате» [9. С. 352]. Употребление имени известного объединителя Германии в нарицательном значении свидетельствует и о непочтительном отношении Германа к своей второй родине.

У Германа отсутствуют воспоминания, связанные с десятилетним пребыванием в Германии, тогда как воспоминания о жизни в России постоянны, навязчивы и эмоционально окрашены. Значит, идентификация себя с немецкой нацией, с Германией происходит на уровне глубинных поведенческих установок и образа жизни. Это пространство социально-физического существования (дом, контора). Аксиология немецкой культуры, задаваемая философией и литературой, в его сознании ограничена. Из немецких мыслителей Герман упоминает только К. Маркса, который, по его мнению, точно уловил основу современной буржуазной культуры и социального существования: «...(марксизм подходит ближе всего к абсолютной истине, да-с), не реши-

тельность собственника, все немогущего, такая уж традиция в крови, расстаться с имуществом...» [9. С. 408].

В логике этой идеологии можно рассматривать и совершённое Германом убийство. Убивая Феликса, Герман возвращает себе свою исключительность, единоличное право на внешность. Для Германа значим вопрос: равноценен ли он с Другим, похожим; кто из них «оригинал», первообраз, а кто – «копия»? Его тревожит, что после установления сходства он «находился, по бессознательному его (Феликса. – Е.П.) расчету, в тонкой от него зависимости...» [9. С. 339]. Последующие действия Германа (во многом бессознательные) направлены на подчинение Феликса, на то, чтобы сделать Феликса покорной вещью, установить своё превосходство. Успешное решение этой задачи (Феликс соглашается стать дублёром Германа, т.е. играть роль жертвы, мертвеца, а перед убийством уподобляется «кукле», которую переодевают, стригут и т.д.) приводит к неожиданным для Германа результатам: он не может забыть «нелепый, безмозглый автоматизм его покорности» [9. С. 440]; именно эти воспоминания мучают Германа.

Марксистская теория в сознании Германа соединена с ницшеанскими идеями, хотя Ф. Ницше не упоминается в повествовании, и это значимо: герой не способен осознать взаимосвязь своего поступка с ницшеанской этикой, тогда как Набоков делает эту связь довольно прозрачной [11. С. 13]. Набоков, приводя героя к неожиданным мучениям, хотя и без раскаяния, опровергает ницшеанскую этику, показывает её изъян: Герман не стал лучше, сильнее, талантливее, не стал сверхчеловеком, а почувствовал «карикатурное сходство с Раскольниковым» [9. С. 449].

Убийство может быть интерпретировано как проявление немецкости Германа. Во-первых, это поступок, соответствующий «немецкой идее» (ницшеанской, фашистской), выросшей из естественно-научной концепции Ч. Дарвина – права сильнейшего на убийство (о том, что, по мысли Германа, это соответствует и советской идеологии, скажем ниже). Во-вторых, уже находясь во Франции, Герман интуитивно списывает негативную оценку совершённого им поступка (доктор: «каким надо быть монстром» [9. С. 445], Герман: «таким тоном пишут о каком-нибудь полуидиоте, вырезавшем целую семью» [9. С. 446]) на стереотипное восприятие немецкой нации (укрепившееся после Первой мировой войны) как неоправданно жестокой и агрессивной: «Как вы смеете – о моей стране, о моем народе... Замолчать! Замолчать! – кричал я все громче. – Вы... Сметь говорить мне, мне, в лицо, что в Германии...» [9. С. 445]. Окружающие интерпретируют его реакцию как протест против обвинения *немцев*: «Какое недоразумение! Я, который всегда говорю, что довольно войны... У вас есть свои недостатки, и у нас есть свои. Политику нужно забыть. <...> Успокойтесь, друг мой, – не в одной Германии убийцы...» [9. С. 448].

И третье. Герман настойчиво утверждал, что совершённое убийство в его сознании – эстетический акт, он имел целью доказать гениальность убийцы. Убийство, воспринимаемое героем как текст, предназначалось немецкой публике, основным адресатом этого сообщения Германа было немецкое (шире – европейское) общество. Столкнувшись с непониманием своего замысла, Герман начинает писать текст о себе, своем поступке и его мотивах,

но меняет адресата: текст он пишет по-русски и выражает надежду, что его «повесть» будет известна русскоязычному читателю: «...написано-то по-русски, и не все переводимо...» [9. С. 428].

В обоих случаях Герман неуверен в себе (хотя утверждает другое), поэтому своё авторство обоих «произведений» он предпочитает скрывать: невозможность найти убийцу идеального преступления служит гарантией его инкогнито в первом случае, а текст он решает издать не от своего имени (это, конечно, объясняется верой в то, что преступление не раскроют, а текст может стать уликой), не под псевдонимом, а передать его русскому писателю-эмигранту, который, вероятно, присвоит авторство себе. Такая позиция Германа может быть объяснена желанием доказать свою состоятельность именно себе, а не другим, и страхом того, что его гениальность не оценят. Утаивание авторства даёт ему возможность читать отзывы, знать оценку своего труда, но при этом оставаться неузнанным.

Разным культурам Герман посылает различные типы текстов: в истории Германии он должен остаться как безымянный гениальный убийца, в истории русской (русскоязычной) культуры – по меньшей мере, как герой гениального произведения, объект эстетической оценки (у русских читателей будет возможность оценить не только литературный, но и криминальный талант Германа): «...чтобы добиться признания, оправдать и спасти мое детище, пояснить миру всю глубину моего творения, я и затеял писание сего труда» [9. С. 452].

В выборе писать повесть о себе по-русски проступает его обида на европейцев, и уничижительная оценка немецкого общества, не способного «по кощности своей» признать его гений. Герман обвиняет европейское общество в несправедливости и примитивности отношения к себе: «...прикрыв рот и отвернув рыло, молча, но содрогаясь и лопааясь от наслаждения, злорадствовали, мстительно измывались, мстительно, подло, непереносимо...» [9. С. 447]. От русской, особенно советской, публики Герман ожидает «более глубокого и даровитого отношения к <его> созданию» [9. С. 450], но при этом его идентификация с русскими дифференцирована, а отношение к России – неоднозначно.

Германа связывают с Россией воспитание, знание культуры, владение языком и личные воспоминания. Он следует русским нормам невербального общения, отличным от европейских: «...я по правилу русской вежливости стал снимать перчатку. <...> Я пожал его (Орловиуса. – Е.П.) шерстяную руку, мы расстались» [9. С. 412–413]. Оголённая рука при рукопожатии может интерпретироваться как склонность русских к открытости, к неофициальности отношений. Но этот код не актуализирован в ситуации, так как, во-первых, Герман воспринимает Орловиуса лишь как полезного знакомого, который должен в замыслах Германа сыграть определённую роль; его открытость перед Орловиусом – мнимая (он признаётся, что подозревает свою жену в измене, хотя сам в это не верит, считает удачной ложью); во-вторых, этот код не прочитывается адресатом: для Орловиуса оголённая рука ничего не означает. Немецкие привычки составляют основу социального поведения, а русские – неактуальны.

Герман не свободен и от неосознаваемых чувств, связанных с русским климатом. Он иронично подмечает, что жена постоянно сопоставляла берлинскую погоду с русской: «Как славно сейчас в России», – сказала она (то же самое она говорила ранней весной и в ясные зимние дни; одна летняя погода никак не действовала на её воображение)» [9. С. 369]. Но замысел преступления возникает берлинской осенью, и Герман цитирует стихотворение А.С. Пушкина, обдумывая план «побега» из сложившихся обстоятельств своей жизни (аллюзия на «болдинскую осень»); убийство совершает «в зимнем лесу» [9. С. 435], в начале марта, когда ещё холодно, лежит снег, и затем именно снежный пейзаж некстати врывается в другие его воспоминания. Понятно, что распределение событий во времени не объясняется только памятью о русском климате и ассоциациями с ним. Такое распределение совпадает и с архетипическими представлениями о временах года: созревание замысла происходит осенью, а убийство – 9 марта, в конце зимы, и Герман предвидит своё весеннее перерождение.

Наиболее тесную, хотя и мучительную, связь с Россией центральный персонаж ощущает в воспоминаниях. Воспоминания детства редуцированы (школьные годы – переделка сюжета «Выстрела» Пушкина на уроке [9. С. 359] и его имитация в поступках: «деловито расстреливал» рожи», нарисованные на деревьях [9. С. 360]); затем университет, Петербург – культурная столица; «во время войны», маргинальное существование «в рыбацьем посёлке неподалеку от Астрахани», откуда «пробрался чудом в Москву сквозь мерзкую гражданскую смуту» [9. С. 360], и вынужденный переезд по причине национальной нетерпимости, проявленной к немцам в годы войны.

В воспоминаниях Германа доминируют две оценки жизни в России: оторочество он вспоминает, чтобы установить развитие своих наклонностей как исключительных, здесь преобладает спокойный тон и удовлетворенность собой. Воспоминания о молодости связаны со ссылкой, всплывают независимо от воли Германа, под впечатлением от встреч с людьми, с реалиями немецкой действительности. Болезненные реакции Германа на воспоминания о жизни в России свидетельствуют о том, что нет ностальгии по унижительному прошлому в «волжском» захолустье: он называет реалии, вызвавшие воспоминание, «отбросами прошлого», «невинными сочетаниями деталей, мерзко отдающими плагиатом» [9. С. 374]. Эти воспоминания не нужны, но Герман не может от них избавиться.

Повторения воспоминаний проявляют ощущение неистинности, зазеркальности жизни в Германии, и выйти из зазеркалья некуда, прошлое исчезло. Герман, рефлексировав механизм возникновения воспоминаний, понимает, что реальность «угодливо» подстраивается под образы в его памяти: «Я подошел к окну, выглянул, – там был глухой двор, и с круглой спиной татарин в тюбетейке показывал босоной женщине синий коврик. Женщину я знал, и татарина знал тоже, и знал эти лопухи... и когда я опять посмотрел на двор, это уже был не татарин, а какой-то местный оборванец... женщины же вообще не было – но пока я смотрел, опять стало все соединяться, строиться, составлять определенное воспоминание, – выросли, теснясь, лопухи в углу двора, и рыжая Христина Форсман щупала коврик... и я не мог понять, где ядро, вокруг которого все это образовалось, что именно послужило толчком,

зачатием... я бы вероятно нашел в конце концов тот пустяк, который, бес- сознательно замеченный мной, мгновенно пустил в ход машину памяти, а может быть и не нашел бы, а просто все в этом номере провинциальной немецкой гостиницы... было как-то смутно и уродливо схоже с чем-то уже виденным в России давным-давно...» [9. С. 372–373].

Герман опасается, что его представление о мире и о себе ложно, но тогда исчезает точка опоры его существования, и собственное сознание оказывается подчиненным внешней реальности. Герман воспринимает себя частью русской интеллигенции, противопоставляя себя «русскому мужику», черты которого усматривает в Ардалионе: «толстоносый», «бедный, как воробей», «бездарный» пьяница, «он был москвич и любил слова этикие густые, с искрой, с пошлейшей московской прищуринкой», носил «нательный крест мужицкого образа» [9. С. 351, 352, 356]. В этом сравнении важна не национальность, а социальная иерархия. Ардалион идентифицируется с Феликсом – «немецким мужиком», представителем «простонародья» [9. С. 388]. Воспринимая их как нищих, нереализованных, Герман отмечает их физическую нечистоплотность, духовное убожество, но именно они оказываются с ним в отношении двойничества, соперничества, т.е. именно с ними происходит идентификация, провоцирующая в Германе стремление избавиться от них. То есть не крайний индивидуализм и «чувство собственника» (по К. Марксу) толкают Германа к убийству, а постижение низкого в себе и желание от него избавиться.

С Россией связано ощущение нереализованности, крушение надежд получить образование: «Во время войны меня, немецкого подданного, интернировали, – я только что поступил в Петербургский университет, пришлось всё бросить» [9. С. 333]; унижения ссылки, «русского плена» [9. С. 416], пренебрежения к личности: «Во время войны я прозябал в рыбацком посёлке неподалеку от Астрахани, и, кабы не книги, не знаю, перенес ли бы эти невзрачные годы» [9. С. 360]. Поэтому возвращение в Россию хотя бы в тексте, доказывающем его гениальность, очень важно для Германа.

Однако это не единственный и, возможно, не основной мотив стремления вернуться в Россию. Герман получил воспитание в России, и именно русская литература, частью которой он может стать благодаря своей книге, выделяется Германом. В ней обнаруживаются и основные ориентиры – А.С. Пушкин, и двойники – Раскольников, герой Достоевского. При этом идеал пушкинской «обители дальней трудов и чистых нег» профанируется Германом: «чтобы никаких дел», быть «честными рантье» [9. С. 362]. А отталкивание от Достоевского на протяжении всего повествования в финале приводит к пониманию соответствия Раскольникову. Отгоняя возможное сопоставление, Герман говорит, что «о каком-либо раскаянии не может быть никакой речи» [9. С. 440], он не сомневается в своем «праве», не верит в Бога, и внешний императив не функционирует в его сознании. Сближение с Раскольниковым – осознание бессмысленности убийства, ничего никому не доказавшего, но обнаружившего в нём ужасное, от чего он скрывается, отращивая бороду, перестав смотреться в зеркало. Чтение написанного становится альтернативой финалу Достоевского, открывавшему раскаяние и возможность искупления. Герман остаётся в границах нищепанской этики, и

осознание несовершенства своего Я, проигрыш «не признавшей его черни» приводит его к отчаянию.

Герой продумывал судьбу своей повести, которую начал писать после непризнания его гения немцами, а завершил выходом к отчаянию: «Решив наконец дать рукопись мою человеку, который должен ею прельститься... я вполне отдаю себе отчет в том, что мой избранник... беллетрист беженский, книги которого в СССР появляться никак не могут. Но для этой книги сделают, быть может, исключение, – в конце концов, не ты ее писал. О, как я лелею надежду, что несмотря на твою эмигрантскую подпись... книга моя найдет сбыт в СССР!» [9. С. 428].

Отметим, что Герман никак не комментирует жизнь русской диаспоры в Берлине. Судьбы нищенствующих русских эмигрантов, попадающих в поле его зрения (Ардалион, Васька Перебродов), не волнуют его, скорее они докучают ему, их положение позволяет утвердиться в собственном благополучии. А феномен Советской России Герман осмысливает неоднократно. Позитивная оценка Советской России связана с надеждой, что новое российское общество способно признать его гений.

В основе позитивного отношения Германа к Советской России и лежащей в основе ее идеологии лежат не национальные, а онтологические и этические аспекты. С Советской Россией Германа роднит атеизм, приведший к ницшеанской морали, в основе которой – право человека на убийство. Герман считает себя вправе лишить свою неидеальную копию жизни, эстетизировать смерть; в основе советского режима – право принести в жертву жизни одних людей ради счастья человечества, ради справедливости (это варианты замысла Раскольникова). Такая мораль приводит к изменению онтологических ориентиров: жизнь отдельного человека лишается абсолютной ценности, которой она наделялась в гуманистической культуре. Советская идеология оперирует более общими понятиями «человечество», «общество», «класс», т.е. значимее жизнь социальной системы в целом, чем отдельная личность. Герман после совершения убийства обнаруживает изъян этой идеологии: убийство опустошает убийцу. Герман ощущает схожее с чувством Раскольникова опустошение, убийство двойника разрушило иллюзии удовлетворенности собой: «Никак не удастся мне вернуться в свою оболочку... прошлое мое разорвано на клочки» [9. С. 343], «...что-то мешает мне, что-то жгучее, нестерпимое, гнусное, – от чего я не могу отвязаться, прилипло...» [9. С. 386].

Сближение Германа с советской идеологией можно объяснить и тем, что Герману советский режим импонирует своей «немецкостью»: упорядоченностью, «грядущим единообразием». «Прекрасный квадратный мир одинаковых здоровяков, широкоплечих микроцефалов» соответствует фашистским идеалам в Германии во время написания романа (1932) и время действия (1930).

Набоков неоднократно в интервью и автобиографиях говорил о своем космополитизме, о восприятии человека вне его национальной принадлежности. В художественной прозе он устойчиво характеризует персонажей-немцев как носителей массовых ценностей или соблазненных ими; сюжеты романов о немцах («Король, дама, валет», «Камера обскура», «Отчаяние») неизменно связаны с преступлением, в них выдвинута этическая проблема-

тика. Это не означает идеализации Набоковым русской нации, но сюжеты романов о русских эмигрантах иные.

Восприятие нации по Набокову исторично. Национальные культуры оказываются подвижны, изменчивы. Делая убийцей просоветски настроенного немца, Набоков реагирует на конкретные исторические события, на тенденции времени. Национальная самоидентификация объясняет выбор героя «Отчаяния», но национальная принадлежность не обуславливает судьбу, выбор ценностей, характер личности, потому что любая культура задает и негативные и позитивные ориентиры. Нет национальной предрасположенности к преступлению, или дару, или подвигу, все зависит от личностного выбора.

Литература

1. Лурье С. Метаморфозы традиционного сознания: (Опыт разработки теоретических основ этнопсихологии и их применения к анализу исторического и этнографического материала). СПб.: Тип. им. Котлякова, 1994. 288 с.
2. Садохин А.П. Межкультурная компетентность: сущность и механизмы формирования: Автореф. дис. ... д-ра культурологи. М., 2008. 44 с.
3. Гуревич П. С. Культурология: Учеб. М.: Гардики, 2007. 280 с.
4. Белик А.А. Культурология: Антропологические теории культур. М.: РГГУ, 1998. 241 с.
5. Гачев Г. Космос, эрос и логос России // Отечественные записки. 2002. № 3. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.strana-oz.ru/?numid=4&article=229>
6. Люкс Л. Россия между Западом и Востоком: Сб. ст. М.: Московский Философский Фонд, 1993. 158 с.
7. Сартр Ж.-П. В. Набоков. «Отчаяние» // В.В. Набоков: Pro et contra: Антология. СПб.: РХГИ, 1997. Т. 1. С. 269–271.
8. Саморукова И.В. Архетип «двойничества» и художественный код романа В. Набокова «Отчаяние» // Литературоведение. 2000. № 1. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.ssu.samara.ru/~vestnik/gum/2000web1/litr/200010604.html>
9. Набоков В. Собрание сочинений: В 4 т. М.: Правда, 1990. Т. 3. 480 с.
10. Карманный словарь русского языка: Русско-немецкий и немецко-русский / Сост. Ст. Валуевский, Э. Ведель. Берлин; Мюнхен; Вена; Цюрих; Нью-Йорк: Langenscheidt, 1999.
11. Ерофеев В. Русская проза В. Набокова // Набоков В. Собрание сочинений: В 4 т. М.: Правда, 1990. Т. 1. С. 3–32.